

# ВЕСЕННИЙ СЧЕТ

Когда в школе речь зашла о японско-русской войне, Киёаки Мацугаэ спросил своего друга Сигэкуни Хонду, хорошо ли он помнит то время, но у Сигэкуни в памяти смутно всплывало лишь одно событие: он запомнил только, что его довели до ворот посмотреть на гирлянды бумажных фонариков. В год, когда закончилась война, им было по одиннадцать, и Киёаки казалось, что можно было бы запомнить что-то более определенное. Одноклассники, с уверенностью рассказывая о тех событиях, большей частью расцветчивали свои воспоминания, настоящие или мнимые, тем, что слышали от взрослых.

В семье Мацугаэ два дяди Киёаки погибли на той войне. Бабушка до сих пор получала за сыновей пособие, которое выдавалось семьям погибших, но не пользовалась им и клала деньги на домашний алтарь.

Может быть, поэтому среди хранящихся в доме фотографий с той войны больше всего запала в душу Киёаки фотография «Заупокойная служба у храма Токуриндзи» с датой 26 июня 1904 года.

Коричневатая фотография была совсем не похожа на множество других военных снимков. Ее композиция впечатляла художественностью: несколько тысяч солдат умело расположены, как персонажи на картине, весь эффект сосредоточен на высоком, из некрашеного дерева могильном знаке, стоящем в центре.

Вдали видны неясные очертания высоких гор, у их подножия слева полого поднимается широкая долина, справа редкий лесок исчезает за пыльным горизонтом, и там, между деревьями, просвечивает желтое небо.

Шесть высоких деревьев возвышаются на переднем плане, не нарушая общего вида и оставляя свободное пространство. Не разобрать, что это за деревья, но будто слышишь, как печально они колышут листвой.

Расстилающееся вдаль поле мерцает неярким светом, а здесь, вблизи, клонится к земле буйная трава.

Точно в центре кадра — мелкие, чуть различимые, могильный знак и покрытый белой тканью алтарь, на алтаре цветы.

Все остальное пространство заполнено солдатами — тысячами солдат. На переднем плане они стоят к зрителю спиной, так что видны свисающие из-под военных фуражек белые платки и кожаные перевязи через плечо; они не в строю, стоят в беспорядке, сбившись в кучки, с опущенными головами. Здесь же, в левом углу, несколько человек, как на полотнах времен Ренессанса, даны впол-оборота — видны темные лица. В глубине слева до самого края поля бесчисленное число солдат образовали огромный полукруг; множество солдат, среди которых, конечно, не разглядеть отдельную фигурку, толпятся и далеко, там, между деревьями.

И на переднем плане, и на заднем люди озарены странным, спокойным мерцанием. Оно высвечивает контуры обмоток и сапог, склоненные головы и опущенные плечи. И из-за этого вся фотография пронизана какой-то невыразимой печалью.

Сердца всех устремлены к центру — маленькому алтарю, цветам, могильному знаку. Общий порыв раскинувшейся по полю массы людей обращен сюда и словно сжимает ее огромным железным кольцом...

Какой-то безмерной печалью веяло от этой старой фотографии.

Киёаки было восемнадцать лет.

Следует сказать, что семья, где он родился и воспитывался, почти не оказала влияния на формирование его душевного склада меланхолика.

В огромной усадьбе, расположенной на холме в Сибуре, надо было еще поискать человека с похожим характером. Наверное, Киёаки не стал бы таким чувствительным юношей, если бы его отец, имеющий титул маркиза, но, несмотря на принадлежность к самурайскому сословию, стыдившийся того, что в конце сёгуната его семье явно недоставало аристократизма, не поручил бы своего наследника в детские годы попечению придворного аристократа.

В усадьбе отца, маркиза Мацугаэ, занимавшей в окрестностях Сибуи огромную площадь в 140 тысяч цубо, соперничали архитектурными стилями множество зданий.

Главный дом построен был в японском стиле. А в глубине усадьбы стояло величественное европейское здание — творение английского архитектора. Оно было резиденцией Мацугаэ — таких домов, известных тем, что там не снимали уличную обувь, в Токио было всего четыре (прежде всего дом военного министра Оояма).

В центре усадьбы находился пруд, раскинувшийся до Кленовой горы. По нему можно было кататься на лодках, там был и остров. На водной глади цвели кувшинки. Большой зал главного дома был обращен к пруду, окна банкетного зала европейского дома тоже выходили на пруд.

До двух сотен фонарей было развешано вокруг пруда и на острове; на острове же стояли три отлитых из металла журавля: один с опущенной головой, два других с задранными к небу клювами.

С вершины горы низвергался водопад: спускался по уступам, нырял под каменный мост и падал в водоем, выложенный красными камнями из Садо; его вода, вливаясь в пруд, питала корни распускающихся весной ирисов. В пруду ловились карпы, попадались и караси. Маркиз два раза в год позволял приводить сюда на экскурсию школьников младших классов.

В детстве слуга напугал Киёаки историей о черепахах. В свое время штук сто черепах были подарены заболевшему деду, чтобы придать ему сил; их выпустили в пруд, где они и размножались; так вот слуга говорил, что если черепаха присосется к пальцу, ее не оторвешь.

Были в усадьбе и несколько чайных павильонов, и большой бильярдный зал.

Позади главного дома росли кипарисовики, посаженные дедом, здесь же можно было набрать ямса. Между деревьями тянулись дорожки: одна выходила к задним воротам, а другая поднималась на пологий холм и вела к большому газону перед синтоистской молельней, которую в доме почтительно величали храмом. Здесь совершали службы в память деда и двух дядей. Каменная лестница, каменные фонари, каменные храмовые ворота были такими, какими им должно быть. Но у основания лестницы, слева и справа, — там, где полагается стоять сторожевым каменным псам, были уложены друг против друга окрашенные в белое пушечные ядра времен японско-русской войны.

Ниже храма было место поклонения богу риса Инари, там находился навес, увитый чудными глициниями.

Годовщина смерти деда приходилась на конец мая, поэтому, когда вся семья собиралась, чтобы почтить его память, глицинии бывали в самом цвету и женщины, избегая солнечных лучей, устраивались в тени под навесом. И тогда на их бледные лица, подкрашенные более тщательно, чем обычно, лиловая тень цветов ложилась, как легкая печать тлена.

Женщины...

Действительно, в усадьбе проживало множество женщин.

Прежде всего, конечно, бабушка, но бабушка жила на покое в доме, значительно удаленном от главного, ей прислуживали восемь женщин. Было заведено, что и в дождь, и в хорошую погоду, утром, закончив туалет, мать в сопровождении двух слуг отправлялась справиться о здоровье бабушки.

Каждый раз свекровь, окинув взглядом фигуру невестки, доброжелательно щури глаза, говорила:

— Эта прическа тебе не идет. Попробуй завтра причесаться по-другому.

И когда на следующее утро та приходила с европейской прической:

— Извини, Цудзико, но у тебя классический тип лица, и европейская прическа тебе не к лицу. Завтра причешишься по-старому.

Поэтому, сколько Киёаки себя помнил, прически у матери постоянно менялись.

В усадьбе подолгу жил парикмахер со своими учениками; конечно, прежде всего он следил за прической хозяйки, а потом и служанок, которых было больше сорока. Парикмахер только однажды занялся мужской прической: это было, когда Киёаки, ученик первого класса средней ступени школы пэров Гакусюин, должен был в качестве пажа присутствовать на новогоднем приеме во дворце.

— Сколько бы мне ни говорили, что для школы нужно стричь наголо, к надетому на вас сегодня парадному костюму стриженная наголо голова не годится.

— Но если чуть отрастить волосы, в школе будут ругать.

— Хорошо. Я просто немного придам вашей прическе форму. Наверное, вы будете в шляпе, но уж если снимете ее, то чтобы вы выглядели взрослее других.

И все-таки голова тринадцатилетнего Киёаки была острижена так коротко, что отливала синевой. Расческа парикмахера больно царапала, помада для волос щипала кожу, и как ни гордился па-

рикмахер своим мастерством, в зеркале незаметно было, чтобы что-то изменилось.

Однако именно на этом приеме Киёаки завоевал славу редкостного красавца.

Император Мэйдзи посетил однажды усадьбу маркиза Мацугаэ: тогда в его честь устроили состязание по борьбе сумо. Между огромными деревьями гинкго натянули занавес, и император изволил наблюдать поединки с балкона второго этажа европейского дома. Тогда Киёаки допустили до высокого гостя и тот погладил его по голове — все это было за четыре года до нынешнего «пажества», но Киёаки думал: «Может быть, его величество меня вспомнит», — и сказал это парикмахеру.

— Так вашу голову гладил император! — Парикмахер отступил назад и, глядя на еще детский затылок, хлопнул в ладоши, словно стоял перед храмом.

Одежда пажа была из синего бархата — штаны чуть ниже колен и пиджак; на груди слева и справа большие белые помпоны, и точно такие же прикреплялись к обшлагам рукавов и брючкам. На поясе подвешена шпага, ноги в белых носках обуты в черные лакированные туфли с застежками. В центре широкого воротника из белых кружев был завязан белый шелковый галстук, треуголка с перьями — копия наполеоновской — висела на шелковом шнуре за спиной. Среди детей дворян выбрали чуть больше двадцати, только тех, кто хорошо успевал в школе, и три дня в наступившем новом году они поочередно должны будут носить — четыре человека — шлейф ее величества императрицы и — два человека — шлейф их высочеств принцесс. Киёаки один раз довелось нести шлейф императрицы и один раз ее высочества принцессы Касуги. Когда он был при императрице, то медленно прошел, неся шлейф, по коридору, где слуги зажгли мускусные благовония, к парадному залу и до начала приема стоял за спиной ее величества, которая давала аудиенцию.

Императрица была чрезвычайно элегантной, необычайно тонкого ума женщиной, хотя возраст ее уже приближался к шестидесяти. Принцессе Касуге было около тридцати, ее красота, элегантность, величавая осанка свидетельствовали о расцвете лет.

И сейчас у Киёаки перед глазами стоит не спокойного цвета шлейф платья императрицы, а шлейф принцессы: белый с черными крапинками край меха был обшит жемчужинами. К шлейфу императрицы были приделаны четыре петли, а к шлейфу прин-

цессы — две, пажей натренировали, поэтому им было легко, держась за петлю, двигаться в заданном темпе.

Черные волосы ее высочества отливали блеском воронова крыла — словно выбиваясь из прически, они волнами спадали на шею, подчеркивая ее сияющую белизну, и струились по гладкой коже выступающих из декольте плеч.

Сохраняя величественную осанку, принцесса решительно двигалась вперед, движения ее не передавались шлейфу, но перед глазами Киёаки в такт музыке то появлялась, то исчезала источающая благоухание белизна, она напоминала снег горных вершин, пропадающий вдруг за невесть откуда взявшейся тучей, и тогда он впервые в жизни ощутил, как ослепительна может быть красота женщины.

Принцесса Касуга была вся окутана ароматом французских духов, и он заглушал даже привычный запах мускуса. Следуя за принцессой, Киёаки остуился, отчего шлейф на мгновение сильно натянулся. Принцесса чуть повернула голову и, никак не выказав упрека, послала нежную улыбку маленькому виновнику происшествия.

Конечно, явно ее высочество не обернулась. Прямо держа спину, она обратила в сторону пажа только краешек щеки, и там скользнула улыбка. По белоснежной коже струились локоны, в уголке длинного разреза глаза словно блеснула черная точка — вспыхнула улыбка, линии красивого носа не дрогнули... Эта мгновенная вспышка, озарившая изнутри даже не профиль, а лишь крохотный кусочек лица, была похожа на радугу, оживившую на секунду грань прозрачного кристалла.

Маркиз Мацугаэ, который наблюдал на приеме за своим сыном, всматриваясь в облаченную в пышный придворный костюм фигурку, буквально упивался радостью, сознавая, что осуществляются его давние мечты. Именно успех сына давал подлинное ощущение того, что он занял положение, когда можно в собственной резиденции принимать государя. Маркиз предчувствовал в этом сближении двора с новым дворянством окончательное слияние придворной аристократии с самурайством.

Выслушивая похвалы, которые присутствующие на приеме высказывали в адрес сына, маркиз вначале радовался, но в конце концов начал беспокоиться. Тринадцатилетний Киёаки был слишком красив. Его красота просто бросалась в глаза. Приливающая кровь окрашивала в алый цвет щеки, четко были очерчены брови;

обрамленные длинными ресницами глаза, по-детски напряженные, распахнутые, словно в отчаянии, вспыхивали черным, влажным блеском. Маркиз, внимая словам восхищения, впервые заметил в идеальной красоте своего наследника эфемерность, недолговечность. В его душе шевельнулась тревога. Однако он был оптимистом и сразу же отогнал ее от себя.

Тревога скорее осела в душе семнадцатилетнего Иинумы, который за год до «пажества» Киёаки поселился в усадьбе.

Иинуму прислали в дом Мацугаэ, чтобы он состоял при Киёаки; он получил рекомендации у себя на родине в Кагосиме, где пользовался почетом у подростков благодаря физической силе и превосходным успехам в учебе. Отца нынешнего маркиза, деда Киёаки, в тех местах просто боготворили, и Иинума воображал, что жизнь в доме маркиза соответствует образу их славного предка, о котором ему столько рассказывали дома и в школе. Однако весь этот год царившая в доме роскошь постоянно противоречила созданному Иинумой идеалу, и это ранило душу наивного юноши.

Он мог закрыть глаза на все, но только не на воспитание порученного ему Киёаки. Красота мальчика, его хрупкость, чувствительность, интересы — все это претило Иинуме. Он считал, что родители воспитывают мальчика совершенно неправильно.

«Будь я маркизом, я воспитывал бы своего ребенка совсем не так. Как следует маркиз заветам своего отца?!»

Маркиз с пышностью устраивал церемонии почитания родителя, но в повседневной жизни очень редко упоминал о нем. Иинума когда-то мечтал: вот если бы маркиз вспоминал своего отца и выказывал бы сожаления о славном прошлом; но за истекший год надежды на это испарились.

Вечером, когда Киёаки вернулся после исполнения своих обязанностей паж, родители устроили в семейном кругу по этому случаю праздник. У тринадцатилетнего подростка щеки покраснелись от саке, выпитого больше из любопытства, и когда подошло время укладываться в постель, Иинума отправился с ним в спальню, чтобы помочь раздеться.

Киёаки забрался под шелковое одеяло, положил голову на подушку и глубоко вздохнул. У волос и пунцовых мочек ушей сквозь тонкую кожу, как сквозь хрупкое стекло, просвечивали учащенно пульсирующие голубые жилки. Губы даже в полумраке спальни ярко алели, слетавшее с них дыхание звучало как стихи, в которых подросток, не ведавший страданий, имитировал их. Длинные

ресницы, тонкие, слабо подрагивающие веки... Иинума понимал, что человек с таким лицом не будет пребывать в экстазе или приносить клятвы верности государю, что было бы естественно для подростка, пережившего подобный вечер во дворце.

Открытые, глядящие в потолок глаза Киёаки увлажнились. Хотя все в Иинуме при виде этих наполненных слезами глаз протестовало, он должен был укрепляться в собственной преданности. Киёаки, которому было жарко, закинул было голые руки за голову, поэтому Иинума, запахнув ему воротник ночного кимоно, сказал:

— Простудитесь. Спите уже.

— Слушай, Иинума. Я сегодня один раз оплошал. Только не рассказывай папе и маме.

— А что такое?

— Я оступился, когда нес шлейф ее высочества. Ее высочество только улыбнулась и совсем на меня не рассердилась.

Как ненавидел Иинума это легкомыслие, это отсутствие чувства ответственности, этот восторг во влажных глазах!

## 2

Естественно, что в восемнадцать лет Киёаки ощутил, как он все больше отдаляется от собственного окружения.

Причем не только от семьи. Школа Гакусюин навязывала ученикам старые традиции образования, например мысль о том, что самоубийство директора школы генерала Ноги, последовавшее в день похорон императора Мэйдзи, есть поступок, достойный поклонения, как будто, умри генерал от болезни, его преданность ничего бы не значила. Поэтому Киёаки, не выносивший духа воинственности, невзлюбил школу за господствовавшие в ней простые, спартанские обычаи.

Из товарищей он близко общался только с одноклассником Сигэкуни Хондой. Конечно, было немало желающих ходить у него в друзьях, но Киёаки не нравилась звериная молодость сверстников, он сторонился грубой сентиментальности, с которой они радостно горланили гимн школы, и привлекал его только спокойный, мягкий, рассудительный характер не похожего на своих сверстников Хонды.

Нельзя сказать, что Хонда и Киёаки были так уж схожи внешне или характерами.

Хонда выглядел старше своих лет, благодаря слишком правильным чертам лица он казался заносчивым, интересовался вопросами права и вместе с тем обладал обычно не выдаваемой острой интуицией. Внешне это никак не выражалось, но окружающим порой казалось, будто у него где-то глубоко внутри вспыхивает огонь — даже слышен треск горящих поленьев. Это было заметно по тому, как Хонда резко сощуривал близорукие глаза, сдвигал брови и слегка приоткрывал обычно плотно сжатые губы.

Киёаки и Хонда напоминали растения от одного корня, но имеющие совершенно разные цветы и листья. Киёаки был по своему характеру незащищенным, легкоранимым, словно обнаженным, его чувства не выливались в действия, он походил на попавшего под весенний дождь щенка, который носится по двору, так и не страхнув с мордочки капелек дождя, а Хонда — на другого щенка, который, слишком рано в своей жизни столкнувшись с опасностями, предпочитает спрятаться от дождя, сжавшись в комочек у стены дома.

Однако они определенно были близкими друзьями: им было мало всю неделю встречаться в школе, и воскресенье они проводили у кого-нибудь из них дома. Конечно, дом у Киёаки был намного просторнее, и мест для прогулок там было великое множество, поэтому чаще в гости ходил Хонда.

В одно из воскресений октября 1912 года, когда красные листья кленов были особенно хороши, Хонда пришел к Киёаки и предложил покататься на лодке.

Обычно в это время в усадьбе бывало много гостей, съезжавшихся полюбоваться осенними листьями, но после случившейся летом кончины императора семья Мацугаэ, как и следовало ожидать, избегала пышных приемов, поэтому в усадьбе было тише обычного.

- Лодки трехместные, посадим Иинуму на весла и покатаемся.
- Зачем заставлять кого-то грести? Я сяду на весла.

У Хонды перед глазами стоял молодой человек со строгим лицом и мрачным взглядом, который молча, с настойчивой вежливостью довел его от прихожей до комнаты Киёаки, хотя провожать, в общем-то, не было необходимости.

- Ты не любишь его, — сказал Киёаки с улыбкой.
- Не то что не люблю, но никак не могу его понять.

— Он здесь уже шесть лет, и я к нему привык. Не думаю, чтоб у нас совпадали наклонности. И все-таки он мне предан, верный человек, старательный, на него можно положиться.

Комната Киёаки находилась в глубине главного дома на втором этаже. В типично японскую комнату, застланную циновками татами, положили ковер, поставили мебель, словом, оборудовали ее как европейскую. Хонда сидел в эркере и рассматривал гору, пруд, остров. Вода покоилась под лучами послеполуденного солнца. Внизу был маленький залив, где привязывали лодки.

Потом Хонда вопросительно взглянул на сидевшего с вялым, равнодушным видом друга. Киёаки оставался безучастным, он хотел, чтобы инициатива исходила не от него. Значит, Хонда должен был предлагать, тащить его за собой.

— Лодки, наверное, видны, — сказал Киёаки.

— Да, видны. — Хонда с недоумением повернул голову.

Что собирался сказать этим Киёаки?..

Если потребовать объяснений, то окажется, что ему просто все неинтересно. Он чувствовал себя маленьким ядовитым шипом, впившимся в здоровый палец семьи. И это тоже все потому, что он старался воспитать в себе утонченность. Пятьдесят лет назад простая, еще и бедная семья провинциального самурая за короткий срок сумела возвыситься, и когда с рождением Киёаки впервые в их роду появилась утонченность, то, в отличие от семей знати, для которых утонченность была врожденной, в их семье наметился раскол — Киёаки предчувствовал его наступление так же, как муравей предчувствует наводнение.

С этой своей утонченностью он был для семьи чем-то вроде занозы. При этом Киёаки хорошо понимал, что душе его, питавшей отвращение к грубости и переполнявшейся восторгом при виде изящного, на самом деле не за что зацепиться: она похожа на траву перекасти-поле. Он ничего не чувствует — ни терзаний, ни боли. Яд Киёаки для семьи действительно был ядом, но совершенно безвредным; бесполезность, очевидно, была в самом факте его рождения — так рассуждал этот красивый подросток.

Он ощущал себя подобием легкого яда, и это ощущение переплеталось с высокомерием, столь свойственным восемнадцатилетним. Киёаки не собирался в жизни пачкать свои красивые белые руки, не собирался трудиться ими, натирая мозоли. Он будет жить как флаг, только для ветра. Единственная реальность — это жизнь чувств, чувств, ничем не ограниченных, бессмысленных,

оживающих, когда кажется, что они умерли, возрождающихся, когда кажется, что они угасли, чувств, не ведающих цели и результата...

Так вот, сейчас его ничто не занимает. Лодка? Этот изящный, покрашенный в синий и белый цвета ялик, который для отца привезли из-за границы? Для отца он — материализованный символ культуры. А чем же он был для Киёаки? Обыкновенной лодкой?..

Хонда был Хондой: врожденным чутьем он хорошо понимал молчание, в которое неожиданно впадал в подобные моменты Киёаки. Хотя они были сверстниками, Хонда уже принял жизненное решение стать «полезным» человеком. Он окончательно выбрал свою роль и знал, что друг нормально воспримет по отношению к себе некоторую нарочитую грубость. Душа Киёаки на удивление хорошо принимала искусственную пищу. Даже в дружбе.

— Тебе надо заняться каким-то спортом. Вроде бы и книгами не зачитываешься, а выглядишь, будто перечел тысячи томов, — бесцеремонно изрек Хонда.

Киёаки молча улыбнулся. Действительно, он не читал книг. Однако часто видел сны. Постоянные ночные сны действовали на него как изнуряющее чтение, и он действительно устал.

Прошлая ночь... прошлой ночью он видел во сне свой некрашенный гроб. Гроб стоит в центре совершенно пустого, с большими окнами помещения. За окном густо-лиловый предрассветный мрак, темноту наполняет щебетание птиц. Молодая женщина с распущенными длинными черными волосами, распластавшись на полу, цепляется за гроб, ее узкие хрупкие плечи содрогаются от рыданий. Ему хочется увидеть лицо женщины, но взору доступна только часть белого, обрамленного волосами лба. Некрашенный гроб наполовину закрывает широкое покрывало из леопардовой шкуры с каймой из множества жемчужин. Ряды жемчужин мерцают в предрассветной мгле. В комнате вместо запаха благовоний витает аромат европейских духов, напоминающий запах спелых фруктов.

Киёаки смотрит на все это откуда-то сверху, но знает, что в гробу лежат его останки. Он в этом уверен, но хочет во что бы то ни стало увидеть их воочию, чтобы еще раз убедиться. Однако его существо, как утренний комар, тщетно складывает в воздухе крылышки и никак не может заглянуть в заколоченный гроб.

Киёаки проснулся с ощущением нарастающей тревоги. Он записал свои вчерашние видения в дневник снов, который втайне вел.

В конце концов Киёаки и Хонда все-таки спустились к пристани и уселись в лодку. Поверхность пруда пылала, отражая наполовину окрашенную красными листьями гору.

Неравномерное покачивание движущейся лодки вызывало у Киёаки ощущение, очень напоминающее ощущение бренности всего сущего. В это мгновение душа его, словно вырвавшись из тела, оказалась вдруг на белом, свежееккрашенном борту лодки. И от этого он повеселел.

Хонда оттолкнулся веслом от камней на берегу, и они поплыли. Пунцовая поверхность дрогнула, расходящиеся по воде круги усиливали ощущение покоя. Глухой плеск напоминал хриплые горловые звуки. Киёаки чувствовал, как ускользает и никогда не повторится этот день его восемнадцатой осени, этот послеполуденный час.

- Плыдем на остров?
- И что будем там делать?! Там же ничего нет.
- Нет, давай поплывем!

Отличное настроение Хонды, свойственное его возрасту, легко угадывалось по оживленным возгласам, вырывающимся из груди в такт гребкам. Киёаки прислушивался к доносившемуся издали, откуда-то из-за острова, шуму водопада и смотрел не отрываясь на мутную воду зарастающего пруда, в которой отражались красные кленовые листья. Он знал, что в воде плавают карпы, а в камнях на дне прячутся черепахи. В сердце на мгновение ожил и тут же пропал тот детский страх.

Ярко светило солнце, его лучи падали на стриженные мальчишеские затылки. Был тихий и пригожий воскресный день.

И все-таки Киёаки по-прежнему слышал это. Слышал, как капля за каплей утекает время из маленькой дырочки на дне этого мира, похожего на наполненный водой кожаный мешок.

Юноши наконец добрались до острова, где среди сосен рос одинокий клен, и поднялись по каменным ступеням к круглой поляне на вершине, к стоящим там чугунным журавлям. Около птиц, которые призывно курлыкали, задрав клювы к небу, друзья сначала присели, а потом легли на спину и уставились в ясное небо поздней осени. Трава газона кололась через кимоно, Киёаки было жестко и больно, а Хонде казалось, словно по спине у него разливается сладостная боль, которую надо перетерпеть. Вместе с облаками перед глазами у них, казалось, медленно плыли шеи чугун-

ных птиц, отполированные ветром и дождем и испачканные белым птичьим пометом.

— Удивительный день. Наверное, у нас в жизни больше не будет такого чудного беззаботного дня. — Хонда облек в слова наполнявшие его предчувствия.

— Ты говоришь о счастье? — спросил Киёаки.

— Да вроде нет...

— Ну ладно, только мне очень страшно говорить подобное. Искушать судьбу...

— Ты очень жаден. И при этом выглядишь печальным. Чего тебе не хватает?

— Какой-то вполне определенной вещи. Но я не знаю какой, — вяло ответил этот очень красивый юноша, который никак не мог определить, чего же ему хочется.

Несмотря на дружескую близость, в капризной душе Киёаки временами возникало раздражение против Хонды с его острым аналитическим умом и внешностью «многообещающего молодого человека».

Киёаки неожиданно перевернулся на живот, поднял голову и начал смотреть на лужайку, раскинувшуюся за прудом перед залом главного дома. Большие камни на дорожках из белого песка доходили до самого пруда, в этом месте специально сделали изрезанный залив и перекинули несколько каменных мостиков. Там-то он и заметил группу женщин.

### 3

Киёаки легонько толкнул друга в плечо, показывая ему туда, где были женщины. Хонда тоже повернул голову и сквозь стебли трав стал всматриваться в группу на берегу пруда. Приятели напоминали выслеживающих дичь молодых охотников.

Это был обычный маршрут прогулок матери. На этот раз, кроме матери и обычно сопровождавших ее служанок, в этой группе оказались две гостьи — молодая и пожилая, они шли вслед за матерью.

Все женщины были одеты в скромные кимоно, и лишь на молодой гостье было нарядное голубое кимоно с вышитым узором; на белом песке у воды шелк холодно поблескивал голубизной предрассветного неба.

Оттуда доносились веселые голоса, раздавались взрывы смеха, так обычно смеются женщины, боясь оступиться на камнях, и в этом слишком явном смехе была какая-то нарочитость, искусственность. Киёаки не любил такой смех, который отличал женщин их усадьбы, но у Хонды загорелись глаза, он походил сейчас на молодого петушка, слышавшего квохтанье курочек, и Киёаки вполне его понимал. Он прижался к земле, и под грудью стали ломаться стебли сухой осенней травы.

Киёаки надеялся, что хотя бы девушка в голубом не смеется так. Служанки помогали хозяйке и гостям идти по трудной дороге — узкой тропинке с несколькими мостиками, ведущей от воды к Кленовой горе, и скоро группа исчезла в тени кустарника.

— У тебя в доме полно женщин. А у меня все мужчины.

Хонда поднялся, оправдывая свой пыл, теперь он передвинулся в тень сосен и всматривался, как женщины поднимаются в гору. На поросшей кленами горе, с ее западной стороны, постепенно расширяясь, уходила вглубь расселина, поэтому водопад с четвертого порога падал по западному склону и низвергался в водоем, выложенный красным камнем из Садо. В том месте у водоема, где женщины перебирались с камня на камень, листья кленов приобрели красный оттенок. Белые брызги водопада на девятом пороге пропадали в кроне деревьев, и тут вода окрашивалась в темно-красный цвет. Киёаки издали видел белую шею и склоненную голову молодой гостьи в голубом, которая с помощью служанок перебиралась по камням, и вспомнил лилейно-белую царственную шею ее высочества незабвенной принцессы Касуги.

После переправы узкая тропинка некоторое время бежит по ровному месту вдоль воды, и этот берег ближе всего к острову. Киёаки, до сих пор жадно вглядывающийся в женщин, теперь был глубоко разочарован, узнав в девушке Сатоко. Почему же он до сих пор не заметил, что это Сатоко? Он был так поглощен мыслью о том, что это прекрасная незнакомка.

Уж если она обманула его ожидания, то прятаться нечего. Киёаки поднялся, стряхивая со штанов хакама прилипшие семена травы, и, выйдя на свет из-под нижних ветвей сосны, позвал:

— Эй! Эгей!

Хонда, подивившись столь неожиданному оживлению Киёаки, тоже выпрямился во весь рост. Не знай он этой особенности друга — при разочаровании, наоборот, оживляться, — наверняка подумал бы, что тот хочет его опередить.